

ОТВЕРГНУТАЯ ДРАКОНОМ

ДУРИКА РЕЙН

ОТВЕРГНУТАЯ
ИСТИННАЯ
ВЫСШЕГО
ДРАКОНА

Аурика Рейн

**Отвергнутая истинная
Высшего Дракона**

«Автор»

2026

Рейн А.

Отвергнутая истинная Высшего Дракона / А. Рейн — «Автор»,
2026

— Кровь её не вынесет моей. Связь не будет завершена. Это говорит мой муж. На алтаре. Перед всем двором. Я стою в свадебном платье, на запястье горит метка истинной, и я не понимаю, что происходит. — Каэн. Посмотри на меня. Высший дракон отворачивается. Я вижу: он уже смотрит на ту, что в верхней галерее. На дочь канцлера в траурном чёрном, словно она заранее знала. — Посмотри на меня хоть раз! Зал молчит. Совет Высших опускает головы. Метка из золотой становится багровой, раскалённой. Полтора года я буду думать, что моя кровь слаба. Что лучший из Высших отказал мне из милосердия. Что я недостойна. А потом проснётся то, о чём он не знал. Чёрная драконица. Серебряное ледяное дыхание. Золото в глазах. Я вернусь к нему, но не той, что уходила. И когда он наконец встанет передо мной на колени... решать буду я.

© Рейн А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1.	5
Глава 2.	11
Глава 3.	15
Глава 4.	19
Глава 5.	24
Глава 6.	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Аурика Рейн

Отвергнутая истинная Высшего Дракона

Глава 1.

Бренна втыкает в подол последнюю булавку и отступает на шаг, прищурившись.

— Не дыши, – велит она.

Я не дышу и стою на табурете посреди гардеробной с разведёнными в стороны руками, а алое платье держится на мне тремя десятками булавок, и одна из них колет под левой лопаткой. Я терплю: завтра это платье увидит весь двор, а сегодня его видит только Бренна, которая не простит мне ни одной складки.

Она обходит меня кругом, маленькая и круглая, с иглой в зубах и мерной лентой на шее, и щурится на шов у талии так, что у глаз её собираются морщинки веером.

— Сто двадцать стежков, – говорит она сквозь иглу. – За каждый день помолвки, и все лунным золотом.

— Ты говорила.

— И ещё скажу, потому что ты, кажется, не веришь. Завтра ты будешь самой красивой невестой Аравонна.

Она вынимает иглу изо рта, и пальцы её замирают у моего горла, там, где под кружевом ворота висит на цепочке мамин медальон. Серебряный овал, нагретый моей кожей, я ношу столько, сколько себя помню, и давно перестала его замечать.

— Утром на тебя наденут подвеску Драстаров, – говорит Бренна.

— Наденут, и что с того?

— А медальон куда денешь?

Я опускаю руки, и булавка под лопаткой входит глубже.

— Невеста Высшего входит в Зал Соединений с одним гербом на груди. Ты сама меня этому учила, когда я ещё путала, какой вилкой есть рыбу.

— Учила. – Бренна поправляет цепочку, хотя поправлять нечего. – А теперь прошу: не снимай.

— Там будет весь Совет. Лорд Маркион заметит цепочку с другого конца зала.

— Пусть замечает, у него глаза для того и даны.

— Каэн заметит.

— Лорд Драстар полгода видит его у тебя на шее и ни разу слова не сказал.

— Один раз сказал. Предлагал заменить на фамильную подвеску.

— И что ты ему ответила?

— Отказалась, а он поднял бровь.

Бренна фыркает, и на миг она снова та Бренна, которая учила меня печь овсяные лепёшки на кухне барона Линар и шлёпала полотенцем по рукам, если я таскала изюм.

— Вот и завтра поднимет бровь и переживёт. Не он первый.

— Почему тебе это так важно? – Я ловлю её взгляд. – Ты же говорила, что не знала маму.

Пальцы Бренны на цепочке перестают двигаться.

— Я знала, чего она хотела.

— Откуда, если не знала её саму?

— Знала, и всё. – Она отпускает цепочку и долго разглаживает кружево у меня на груди обеими ладонями, хотя и там разглаживать нечего. – Обещай мне, Альса.

Я хочу сказать, что это глупо, что завтра я стану женой Высшего и смогу носить на шее хоть подкову, но в первый же день ссориться с двором из-за цепочки мне не хочется. Потом я вижу её глаза, красные по краям и мокрые, и как она часто моргает, прогоняя влагу.

Я спускаюсь с табурета и обнимаю её, рискуя всеми тридцатью булавками разом.

— Обещаю.

Бренна шмыгает носом мне в плечо, отстраняется и шлёпает меня по бедру.

— На табурет. И не дыши, пока не скажу.

Год назад, на весеннем смотре, я тоже не дышала.

Нас было сорок девушек в белом, дочери баронов и графов, выстроенные в два ряда в Лазурном зале, и каждая знала, зачем её позвали. Раз в год Высшие драконы империи проходят вдоль этих рядов, и раз в несколько поколений на запястье у одной из девушек проступает метка истинной. Чаще не проступает ни у кого, и тогда девушек кормят пирожными, хвалят их платья и развозят по домам.

Весь двор знал, у кого метка проступит в тот год. Велиса Виран, дочь канцлера, стояла в первом ряду в зелёном шёлке, единственная не в белом, и никто не посмел сделать ей замечание. Рыжеволосая, с прямой спиной, она держалась хозяйкой зала, и говорили, что канцлер готовил её к этому дню с колыбели.

Я стояла во втором ряду у колонны и считала трещины в мраморе, чтобы не смотреть на Высших. Приёмная дочь покойного барона Линар, без приданого и без связей, я пришла на смотр только потому, что отказаться от приглашения значило оскорбить корону. Бренна три дня перешивала мне мамино платье и красила мне волосы отваром ореховой скорлупы, чтобы на свету они не отливали синим.

Каэн Драстар прошёл мимо Велисы, не повернув головы.

Я узнала об этом позже, от Бренны, потому что сама ничего не видела, занятая трещинами. Я увидела его, только когда он остановился передо мной и тень от его плеч закрыла мне свет из окна.

Он ничего не сказал, только смотрел на меня сверху вниз золотыми глазами, и я не понимала, почему он смотрит так долго и почему у меня горят щёки. Потом он ушёл, а через семь дней у меня на запястье проступила метка.

Три ночи она жгла кожу. Каэн приехал в дом Бренны на второй вечер, сел у моей постели и прижал ладонь к моему запястью, и держал до рассвета, ни разу не отняв руки, пока я кусала угол подушки, чтобы не кричать. Утром на моём запястье осталась тонкая золотая нить, и у него на запястье такая же.

С того утра прошёл год. По старому закону истинная связь, проступив, ждёт год, а потом завершается сама, с обрядом или без, и никто при дворе не помнит, что бывает с теми, кого связало без обряда. Поэтому Соединение назначили на завтра, день в день.

Поэтому я стою на табурете в алом платье и не дышу.

Вечером он ждёт меня в зимнем саду.

Зимний сад Драстар-холла построили прадеды Каэна, когда в роду ещё жили женщины, любившие цветы. Стекланный купол держат чугунные рёбра, под куполом круглый год лето, а вдоль дорожек растут розы, старше самого дома. Их ветви заговорены: шип такой розы прорекает перчатку вместе с пальцем, и садовники подходят к кустам только в кольчужных рукавицах.

Каэн стоит у куста с тёмно-красными цветами, заложив руки за спину, в чёрном камзоле без шитья. Белое с золотом ему наденут завтра, и он уже неделю обходит парадный камзол в гардеробной стороной, потому что, как он сам мне признался, чувствует себя в нём приговорённым к удушению шёлком. В тот вечер я поняла, что он умеет шутить, только делает это с каменным лицом, и смеяться приходится наугад.

Он слышит мои шаги и не оборачивается.

— Ты опоздала.

— Бренна закалывала подол и не отпускала, пока не воткнула последнюю булавку.

— Долго же она возилась.

— Сто двадцать стежков, Каэн. Попробуй сам.

Он оборачивается, и в сумерках под стеклом его глаза темнеют, так что золото в них почти гаснет. Я знаю это лицо полгода и до сих пор не умею угадывать, что за ним, знаю только, что когда он смотрит на меня вот так, колени перестают меня слушаться.

В первое утро после помолвки он привёл меня сюда до рассвета, протянул руку в куст, не глядя и без рукавицы, отломил розу и подал мне, не получив ни одной царапины. Я взяла её молча, и мы стояли так, пока купол не порозовел. Тогда я поняла, что с этим мужчиной можно молчать, не боясь молчания.

Сегодня я молчать не хочу.

— Завтра в это время, – говорю я, – я буду Альсой Драстар.

— Будешь, если Бренна не задушит тебя булавками раньше.

— И ты при всём дворе скажешь, что готов.

— Скажу, раз уж выучил.

— Только это?

Он приподнимает бровь.

— Остальное по обряду. Я выучил все слова до последнего.

— Я не про обряд.

Я подхожу ближе, но между нами остаётся шаг, и я его не сокращаю, хотя очень хочу. Полгода я учусь у Каэна этому шагу: он оставляет его между нами при людях и наедине, всегда, и только ночью у моей двери... Но про дверь я ему не скажу. Пока.

— Ты ни разу не сказал мне, – говорю я.

— Чего именно?

— Каэн, ты прекрасно знаешь чего.

Уголок его рта едва заметно сдвигается.

— Драстары говорят это слово один раз, – отвечает он. – У алтаря, при свидетелях. Так заведено с первого Драстара.

— Первый Драстар жил тысячу лет назад и, говорят, ел быков целиком.

— Говорят.

— Ты тоже ешь быков, когда никто не видит?

— Не при тебе.

Я смеюсь, и он позволяет себе ещё одно движение уголком рта, а потом я перестаю смеяться.

— А если я не доживу до завтра? – спрашиваю я.

— Доживёшь, я прослежу.

— А если передумаю?

Он делает шаг, который всегда оставляет между нами, берёт мою левую руку, поворачивает запястьем вверх и прижимает большой палец к метке. Под его пальцем золотая нить нагревается, и тепло поднимается по руке к локтю, к плечу и к горлу.

— Не передумаешь, – говорит он.

— Откуда ты знаешь?

Он не отпускает моё запястье и не отводит глаз.

— Отсюда.

Я жду, что сейчас он скажет это здесь, под стеклом, среди роз, без Совета и без свидетелей, и вижу, как у него дёргается кадык.

Каэн отпускает мою руку, отворачивается к кусту и, не глядя, ломает стебель, а потом подаёт мне тёмно-красную розу.

— Завтра, – говорит он.

Я беру розу и только тогда замечаю, какие у неё длинные и острые шипы, а он держал её за стебель голой рукой.

На галерее над садом мелькает серая мантия: магистр Велвен, дядя Каэна, идёт к себе в архив с книгой под мышкой. Он машет нам, и я машу ему в ответ розой, а Каэн не машет, потому что смотрит на меня.

Ночью, когда Драстар-холл затихает, я не сплю.

Свеча на столике догорела, и луна кладёт на пол бледный квадрат окна. Роза стоит в стакане с водой, а алое платье висит на манекене у стены, и над кружевным воротом пусто, так что в темноте я стараюсь туда не смотреть.

В коридоре раздаются шаги.

Я знаю их, потому что полгода слышу каждую ночь. Они идут из библиотеки, где он засиживается над донесениями Северной гвардии, к его покоям в конце крыла и у моей двери останавливаются.

Он стоит там, а я лежу и слушаю, как он слушает меня.

Первую неделю я думала, что мне мерещится, пока однажды не встала и не открыла дверь. Коридор оказался пуст, только в конце его закрывалась дверь его покоев, а утром за завтраком он смотрел на меня поверх кубка, и я покраснела, а он нет. С тех пор я не открываю, а лежу и дышу глубоко, по-сонному, считая его вдохи за дверь. Обычно он уходит на двадцатом, иногда на тридцатом.

Сегодня я сбиваюсь со счёта на сорок втором, и только тогда шаги уходят, а в конце коридора закрывается дверь.

Я сажусь на постели, и сердце колотится у меня в горле. Завтра, говорит он, завтра у алтаря, при свидетелях, по обычаю. Завтра он наденет белое с золотом, я стану женой Высшего, и вокруг нас будет весь двор. А мне нужна ещё одна ночь, где есть только он и я, последняя ночь, когда я ещё Альса Линар и могу прийти к нему сама, потому что сама так решила.

Я встаю в одной ночной рубашке, босиком на холодный пол, с медальоном на шее, и шаль не беру.

Коридор длиной в тридцать два шага. Я считала их однажды, в первую неделю, а сегодня не считаю.

У его двери я стучу один раз.

Дверь открывается сразу: он не ложился и стоит на пороге в рубашке с расстёгнутым воротом и закатанными до локтей рукавами, с пером в руке, которое, кажется, забыл положить. Увидев меня, он роняет перо на ковёр.

— Альса.

— Ты стоял у моей двери, – говорю я. – Сорок два вдоха.

Я впервые вижу Каэна Драстара, которому нечего ответить.

— Полгода, – продолжаю я. – Каждую ночь.

— Иди к себе.

— Сегодня я пришла к твоей двери, а не ты к моей.

— До Соединения нельзя, ты сама знаешь.

— До Соединения двенадцать часов.

— Альса, иди к себе. – Голос у него сел, и ладонь его держит дверь, загораживая проём.
– Я дал слово Бренне. Я дал слово Совету.

— А мне ты что дал?

Он не отвечает. Я переступаю порог, и ему приходится отступить, иначе я врежусь в него грудью, а потом я закрываю дверь у себя за спиной.

В его покоях горит камин, на столе под лампой раскиданы донесения, на спинке кресла висит камзол. От него самого пахнет морозом и горячим металлом, и этот запах я узнала бы среди сотни других.

— Ты дрожишь, – говорит он.

— Тут холодно.

— Тут камин, Альса.

— Значит, не от холода.

Он смотрит на мои босые ноги, потом на руки, которые я не знаю куда деть и потому комкаю ими подол. Я жду, что он снова скажет "иди к себе", и тогда я уйду, потому что не умею просить дважды.

Он ничего не говорит, а подходит, берёт мои руки в свои и разжимает мои пальцы на подоле, по одному.

— Чего ты боишься? – спрашивает он.

Я хочу соврать и не могу, потому что он держит мои руки и его метка прижата к моей.

— Завтра, – говорю я. – Боюсь, что завтра ты посмотришь на меня поверх алтаря, и я пойму, что всё это мне приснилось. И сад, и розы, и сорок два вдоха у моей двери.

— Не приснилось.

— Тогда докажи.

Я слышу, как это звучит, и щёки у меня горят так, что это, наверное, видно даже в свете камина. Каэн не смеётся, а долго смотрит мне в лицо, и я вижу, как он сдаётся.

Он целует меня.

Он целовал меня и раньше, в саду и у двери моих покоев, коротко и бережно, всегда первым отстраняясь. Сейчас он не отстраняется, а целует меня долго, держа моё лицо в ладонях, и я понимаю, что он ждёт, отступлю ли я. Я не отступаю, а поднимаюсь на цыпочки и обнимаю его за шею, и тогда его ладони уходят с моего лица на плечи и на спину, он прижимает меня к себе, и холодного пола под ногами больше нет.

Он не спрашивает разрешения, он смотрит. Когда я замираю, потому что не знаю, что делать дальше, он останавливается и ждёт, пока я снова начну дышать, а когда я тяну его к себе, подаётся следом. Его ладони читают меня, и я понимаю, что полгода он учил меня не только молчать рядом с ним, но и сам учился мне: каждому вздоху, каждой паузе.

Метки на наших запястьях горят тёплым золотом, и оно расходится по коже от руки до сердца и обратно.

Камин догорает, и я больше не считаю.

Потом я лежу у него на плече, а он гладит большим пальцем мою метку, по кругу, по золотой нити, и по потолку ходят отсветы красных углей из камина.

— Скажи, – прошу я.

Его палец останавливается.

— Завтра.

— Каэн, здесь нет свидетелей. Никто не узнает.

— Поэтому и завтра. – Он поворачивает голову, и его губы касаются моего виска. – У алтаря, при всём дворе, чтобы ты никогда больше не могла сказать, что тебе приснилось.

— Упрямый дракон.

— Драстар.

— Это одно и то же, и ты сам это знаешь.

Он фыркает мне в волосы. Я впервые слышу, как он смеётся, пусть одним выдохом, и решаю, что завтра заставлю его сделать это ещё раз, при Совете, и посмотрю на лицо леди Талирии.

Глаза у меня закрываются. Последнее, что я помню, это его палец, снова идущий по кругу по моему запястью, и его дыхание над ухом, глубже обычного: он считает мои вдохи.

Я засыпаю на двенадцатом.

Меня будит стук.

Я не открываю глаз, но чувствую, как исчезает тепло у меня под щекой, скрипит половица, приоткрывается дверь и по ногам тянет холодом из коридора. За дверью кто-то говорит торопливым шёпотом, и я не разбираю слов, кроме одного.

— Канцлер.

Каэн отвечает тоже шёпотом, дверь закрывается, и его шагов в коридоре я уже не слышу.

Государственные дела, думаю я: Совет не спит даже в ночь перед Соединением, и он вернётся до рассвета.

Я натягиваю на плечо одеяло, которое ещё хранит его тепло, и засыпаю снова.

Глава 2.

Дворецкий Холт стоит в коридоре со свечой, и пламя у него в руке подрагивает.

— Канцлер в малом кабинете, лорд Драстар. Сказал, что дело не терпит до утра и что вы поймёте, когда услышите.

— Который час?

— Начало пятого, лорд.

Каэн прикрывает за собой дверь. Альса спит, отвернувшись к стене, одеяло сползло с её плеча, и он собирается вернуться до того, как она почувствует холод.

Он идёт по коридору в рубашке и босиком, а Холт семенит следом со свечой и молчит о том, что лорду не подобает принимать канцлера в таком виде. Каэну всё равно: Орвид Виран поднял его в ночь перед Соединением, так пусть теперь смотрит на его босые ноги.

Канцлер стоит у остывшего камина и не садится. Ему за шестьдесят, седые волосы зачёсаны назад, лицо узкое и гладкое, на пальцах перстни с тёмными камнями. Его поклоны Высшим всегда на волос короче положенного, и за тридцать лет никто не сумел поставить ему это в вину. На столе перед ним лежит папка в коричневой коже.

— Лорд Драстар, простите за час. Будь у меня выбор, я выбрал бы другой.

— Говорите, раз уж пришли.

— Я мог бы прийти днём. — Орвид кладёт ладонь на папку. — Но днём я уже не смог бы сказать вам этого, не став врагом вашего Дома. Сейчас ещё могу.

— Короче, канцлер. Меня ждут.

Орвид раскрывает папку и вынимает лист плотной бумаги с гравюрой. В кресле у окна сидит женщина, сложив на коленях тонкие руки, и волосы у неё совсем белые, кожа на скулах в мелких трещинах, а на шее проступают кости. За креслом стоит мужчина, положив ладонь ей на плечо, и Каэн узнаёт в нём лорда Органа, только молодого, без седины и без шрама на подбородке.

— Сабина Орган, — говорит Каэн. — Она умерла до моего рождения.

— В двадцать семь лет. Гравюру сделали за год до её смерти, потому что муж хотел её запомнить. — Орвид поправляет лист на столе. — Ей здесь двадцать шесть.

Каэн смотрит на белые волосы и на руки, в которых кости видны сквозь кожу.

— Болезнь. Такое бывает.

— Связь, лорд Драстар. Сабина была человеком и истинной Высшего, они завершили бонд по всем обрядам, и через три года его кровь выжгла её изнутри.

— Сказки, которыми пугают невест на смотринах.

— Тогда вот вам ещё сказки.

Орвид выкладывает на стол листы один за другим: копии с печатями хранителей имперского архива, синий воск и оттиск раскрытой книги, которые Каэн знает с детства.

— Семь человеческих женщин за четыреста лет, у которых проступала метка Высшего, — говорит канцлер. — Все семь завершили связь, и ни одна не дожила до тридцати. Это записи из нижних ярусов. Опись поднимали неделю назад по другому делу, и мой секретарь наткнулся на них случайно.

— Метка не выбирает тех, кто её не вынесет. Это знает любой ребёнок.

— Метка выбирает душу, лорд Драстар, а до тела ей нет дела. — Орвид кладёт поверх копий последний лист, исписанный мелким аккуратным почерком. — А это заключение лекаря Совета. При смотре у каждой девушки берут каплю крови, вы помните. Я попросил проверить кровь леди Линар ещё раз.

Каэн делает шаг к столу, и стекло в окне отзывается на его голос едва слышным звоном.

— По какому праву?

Орвид не отступает, только пальцы его на краю стола белеют.

— По праву канцлера, который отвечает за то, чтобы глава Дома Драстар не овдовел в тридцать лет и не оставил Северную границу без наследника. Лекарь закончил вчера вечером: ни капли драконьей крови, ни следа древних родов. Она человек, лорд Драстар. Мне жаль.

Каэн берёт лист и видит под заключением подпись мастера Эдрика, лекаря Совета. Он знает Эдрика двадцать лет: тот лечил ему сломанное крыло, когда Каэну было пятнадцать, и не умеет врать даже о погоде.

— У вас был целый год, – говорит Каэн. – Почему вы пришли только сейчас, за несколько часов до алтаря?

— У меня была неделя, и я ехал к вам с того часа, как Эдрик отдал мне бумагу.

— Ваша дочь стояла на смотре в первом ряду, канцлер. Весь двор ждал, что метка проступит у неё.

Орвид поднимает на него глаза, и обиды в них нет. В них усталость, которую Каэн видел у старых офицеров, когда те приносили списки погибших.

— Поэтому я и колебался целую неделю, – говорит Орвид. – Вы вправе думать, что я пришёл ради Велисы. Думайте, лорд Драстар, бумаги от этого не изменятся.

Каэн смотрит на гравюру, на ладонь лорда Органа на плече умирающей жены.

— Холт, – говорит он, не оборачиваясь. – Разбуди магистра Велвена.

— Я надеялся, что вы его позовёте, – отвечает Орвид.

Велвен приходит в ночном халате, с очками на лбу и с цепочкой записной книжки, намотанной на палец. Он переводит взгляд с Каэна на канцлера, потом на папку, и сон уходит с его лица.

Он читает долго, а потом молча собирает копии и уходит с ними в родовой архив, где Драстары триста лет хранят списки с имперских описей обо всём, что касается Высших. Каэн стоит у окна и слушает, как в саду под стеклом капает вода с листьев роз. Орвид сидит в кресле, сложив руки на колене, и не произносит ни слова, что Каэн ставит ему в заслугу.

Велвен возвращается через полчаса с посеревшим лицом.

— Сходится, мальчик, – говорит он. – Строка в строку, номера описей, печати хранителей. И Сабина есть в нашем альбоме: Органы дарили эту гравюру твоему деду.

Орвид поднимается, закрывает папку и оставляет её на столе.

— Решать вам, лорд Драстар. Я сделал всё, что мог.

У двери он оборачивается.

— Год истекает на закате, и отложить нельзя. Вы знаете закон не хуже меня.

Дверь за ним закрывается.

Когда шаги канцлера стихают в коридоре, Велвен поворачивается к племяннику.

— Скажи ей, – говорит он.

— Нет.

— Это её жизнь, Каэн, и решать её судьбу должна она сама.

— Она решит остаться со мной.

— Значит, это её право.

— Её право умереть в двадцать пять? – Каэн отходит от окна. – Она пришла ко мне этой ночью, Велвен, босиком. Я дважды сказал ей уйти, она не ушла, и я не сумел её выгнать. Покажи я ей эти бумаги, она скажет "три года с тобой", и я соглашусь.

— Откуда ты знаешь, что согласишься?

— Знаю себя.

Велвен снимает очки со лба и трёт переносицу.

— Тогда отложи обряд. Найдём других врачей, перепроверим всё ещё раз...

— Закон года, дядя. На закате связь завершится сама, с обрядом или без.

Велвен замолкает, и цепочка записной книжки крутится у него на пальце виток за витком. Каэн смотрит на неё, потому что смотреть на лицо дяди не может.

— Остаётся отречение, – говорит наконец Велвен.

Каэн не отвечает, и Велвен продолжает сам:

— Отречение при свидетелях выжигает метку той, от кого отрекаются. Она будет помнить это до конца жизни, мальчик.

— До конца жизни, – повторяет Каэн. – Длинной.

— Она тебя возненавидит.

— Пусть ненавидит, лишь бы жила.

Велвен смотрит на него поверх очков, которые так и держит в руке.

— А если бумаги лгут?

— Ты же сам их сверил.

— Сверил, – говорит Велвен и опускает глаза.

Когда Каэну было четырнадцать, его мать умирала в этом доме, в комнате над зимним садом.

Она болела всю осень, к зиме перестала вставать, а к солнцевороту перестала есть. В последнюю ночь она позвала его и долго держала его руку в своих сухих горячих пальцах. Велвен стоял у изголовья с чашей отвара, а отец к тому времени три года лежал в родовом склепе.

— Обещай мне, – сказала мать.

— Что угодно.

— Не свяжи душу с той, кто не вынесет твоей.

Он обещал, не поняв, о чём она. Ему было четырнадцать, и он решил, что мать говорит о характере: о женщине, которая испугается его дракона, его службы, его вечных отлучек на северную границу. Шестнадцать лет он прожил с этими словами и считал, что понимает их.

Сейчас он стоит в малом кабинете над закрытой папкой и слышит их заново.

Та, кто не вынесет твоей души. Твоей крови. Мать знала про Сабину Орган и про семь женщин из нижних ярусов и умирала, пытаясь его предупредить, а он шестнадцать лет понимал её слова наполовину.

— Я сделаю это при всех, – говорит Каэн.

Велвен поднимает голову.

— Наедине она меня переубедит, – объясняет Каэн. – Она уже переубедила меня сегодня ночью. А если при всех, то обратной дороги не будет ни у неё, ни у меня.

— Мальчик...

— Иди спать, Велвен.

Велвен не уходит. Он стоит посреди кабинета в ночном халате, с очками в руке, старый и растерянный, и Каэн впервые замечает, сколько у дяди седины.

— Я сверил бумаги, – говорит Велвен. – Но я буду молиться, чтобы ты ошибся.

Он уходит, и Каэн остаётся один.

Каэн возвращается к себе, где угли в камине уже подёрнулись пеплом. Альса спит на его постели, на боку, подтянув колени, одеяло сползло ещё ниже, до лопатки, а волосы рассыпались по его подушке. В сером свете перед рассветом в них проступает синий отлив, который её нянька столько лет прятала ореховой скорлупой.

Каэн садится на край постели и поправляет одеяло у неё на плече, но она не просыпается. Он слушает её дыхание и считает вдохи. Полгода он делал это за дверью, прижав ладонь к дереву, и каждую ночь уговаривал себя уйти на двадцатом, а сегодня ему не нужно уходить: он может сидеть на расстоянии вытянутой руки и считать сколько угодно.

На сороковом вдохе он берёт её руку.

Метка на её запястье тонкая и золотая, едва видная в полумраке. Он касается её большим пальцем, нить под пальцем теплеет, и Альса улыбается во сне и неразборчиво, одними губами, говорит его имя. Он слышит.

Он убирает палец.

Через несколько часов эта метка почернеет и будет жечь её три дня, может, неделю. Потом боль уйдёт, а останется шрам, который она будет прятать под рукавом до конца жизни, до конца длинной жизни, в которой не будет его.

Ещё он думает о том, что ему нельзя будет на неё смотреть, когда он произнесёт формулу на алтаре, потому что если он посмотрит, то не договорит.

На столе среди донесений лежит отчёт капитана Северной гвардии. Казн переворачивает его, пишет на обороте два слова и кладёт лист на подушку рядом с её лицом.

"У алтаря".

Она прочтёт это утром и улыбнётся, он знает.

Он встаёт и идёт в гардеробную, где слуга ждёт его с белым камзолом на руках, с золотым шитьём по вороту, золотым поясом и фамильным мечом. Казн молча продевает руки в рукава, и слуга застёгивает пуговицы одну за другой, до самого горла. Шёлковая петля.

Казн смотрит в зеркало на человека в белом с золотом.

Через три часа ты убьёшь её любовь на глазах у всего двора, говорит он этому человеку, потому что это единственный способ не убить её саму.

Глава 3.

Я просыпаюсь одна.

Подушка рядом примята и уже остыла, в окне светло, у камина серая зола. На подушке лежит лист, исписанный с одной стороны мелкими строчками донесения, а на обороте его рукой выведено:

"У алтаря".

Я перечитываю эти два слова раз пять, прижимаю лист к груди и смеюсь в его подушку.

Потом соображаю, что лежу в его спальне в одной рубашке, за окном утро, до Соединения осталось три часа, и Бренна меня убьёт.

Бренна меня не убивает. Она ждёт в моих покоях с алым платьем на руках, оглядывает мою рубашку и растрёпанные волосы и поджигает губы так, что они пропадают совсем.

— Ни слова, – говорю я.

— Я ничего и не говорю.

— Зато думаешь так громко, что слышно в коридоре.

— Думать мне пока никто не запрещал. – Она встряхивает платье. – Руки вверх.

Она одевает меня молча, булавку за булавкой и крючок за крючком, с каменным лицом, у которого только уголок рта подёргивается. Когда она затягивает последнюю шнуровку, я ловлю её взгляд в зеркале и вижу, как она улыбается, быстро, украдкой, и тут же сводит брови.

— Счастлива? – спрашивает она.

— Счастлива, Бренна. Так, что страшно.

— Вот и хорошо. Вот и ладно, а страх пройдёт к обеду.

Подвеску Драстаров Холт приносит на бархатной подушке: белый дракон на серебряной цепи, тяжёлый, с опалом вместо глаза. Бренна застёгивает её у меня на шее и поправляет так, чтобы мамина цепочка ушла под кружево, и медальон остаётся под платьем, у самой кожи, как я обещала.

В зеркале на меня смотрит женщина в алом, с высоко убранными чёрными волосами, белым драконом на шее и тонкой золотой нитью на левом запястье. На безымянном пальце у неё кольцо его матери, узкий ободок белого золота с тёмным камнем, гранёным розой. Он надел его мне в день помолвки и сказал, что его носили наречённые Драстаров четыре поколения подряд.

Я смотрю на эту женщину и думаю, что через три часа у неё будет другое имя.

Через три часа я стою на пороге Зала Соединений, круглого и высокого, с куполом из тёмного стекла, сквозь которое свет падает на мраморный пол золотыми полосами. По стенам до самого купола поднимаются галереи, и сегодня на них нет свободного места. Внизу, на скамьях вокруг алтаря, сидят старшие Дома империи: графы в бархате, баронессы в жемчуге, офицеры Северной гвардии в парадных мундирах.

Высший впервые за сорок лет завершает истинную связь, и посмотреть на это пришёл весь Аравонн.

Я иду к алтарю по проходу между скамьями, и шлейф шуршит по мрамору у меня за спиной. По сторонам я не смотрю, я смотрю вперёд, на него.

Каэн стоит у алтаря в белом с золотом, и челюсть у него сжата крепче обычного, так что я едва сдерживаю улыбку: шёлковая петля. Я представляю, как вечером он сорвёт с себя этот камзол и швырнёт на кресло, а я буду смеяться над его лицом.

Он смотрит не на меня, а куда-то поверх моего плеча, и я решаю, что он волнуется.

Алтарь между нами вырублен из цельного белого камня, тёплого на ощупь. За ним стоит лорд Маркион, старейший из Совета, в чёрной мантии, сухой и седой, с длинными пальцами и золотом в глазах, выцветшим до бледной охры. Справа от него леди Талирия, высокая, рыже-

волосая, с неподвижным лицом, слева лорд Орхан Северный с бородой до пояса и ладонью на эфесе парадного меча. Четвёртый Высший империи стоит напротив меня.

В первом ряду я нахожу Бренну, которая сидит с платком у рта и уже плачет, хотя ничего ещё не началось. Рядом с ней Велвен, дядя Каэна, опустил голову так низко, что видна только седая макушка, и руки у него сжаты на коленях.

Я кладу правую ладонь на алтарь, как меня учили, и Каэн накрывает её своей.

Его рука холодная. Она всегда холоднее моей, потому что драконы Драстаров горят изнутри, а кожа у них прохладная, особенно у Высших, но сегодня его пальцы ледяные, и я чувствую, как они вздрагивают на моих. Один раз.

— Каэн Драстар, – говорит лорд Маркион глухим сухим голосом человека, который вёл такие обряды задолго до моего рождения. – Готов ли ты завершить связь со своей истинной?

Каэн молчит.

Один вдох, второй, и под куполом кто-то кашляет, так что звук отдаётся от стекла.

У меня в животе проскальзывает холодок, маленький и острый, и я улыбаюсь Каэну ещё раз. Это я умею, научилась у Бренны: она улыбается гостям в гостиной, когда на кухне подготавливает пирог.

— Готов, – говорит Каэн.

Я выдыхаю, потому что голос у него обычный, низкий и неторопливый, тот, которым он вчера за ужином просил передать ему мёд.

Лорд Маркион поворачивается ко мне.

— Альса Линар, готова ли ты завершить связь со своим истинным?

— Готова.

Голос у меня дрожит, и я слышу, как в первом ряду всхлипывает Бренна, но обернуться к ней нельзя.

— Тогда пусть метки сольются, – говорит лорд Маркион.

Я подаю запястье, давно открытое: рукав у меня закатан до локтя с начала обряда, и золотая нить на коже ловит свет из-под купола. Каэн должен открыть своё запястье и прижать к моему, после чего Маркион скажет последние слова, а Каэн скажет мне то, что обещал сказать при свидетелях.

Каэн не двигается.

Я смотрю на него и тихо зову:

— Каэн.

Он убирает ладонь с моей руки и отступает от алтаря на шаг.

Зал замолкает не сразу: сначала перестают шуршать платья в первых рядах, потом обрывается шёпот на галереях, и наконец под куполом становится так тихо, что я слышу, как потрескивают свечи у алтаря.

Каэн поднимает голову и, глядя поверх меня, произносит:

— Я, Каэн Драстар, глава Дома Драстар, Высший, при свидетелях отрекаюсь от истинной связи. Кровь её не вынесет моей. Связь не будет завершена.

Я не понимаю.

Я слышу слова, каждое по отдельности, и не могу сложить их вместе. В первую секунду мне кажется, что он говорит о ком-то другом, о третьей женщине, чьё имя я прослушала, и я почти поворачиваю голову, чтобы посмотреть, о ком он. Потом вспоминаю, что у алтаря стоим только мы двое, и решаю, что это часть обряда, старинная проверка невесты, о которой меня забыли предупредить, и что сейчас лорд Маркион скажет следующие слова и всё продолжится.

Лорд Маркион молчит, и ладонь его, лежавшая на краю алтаря, сжимается на камне.

По другую сторону алтаря формула выходит из Каэна целиком, слово за словом, и последнее слово рвёт связь.

Он знал, что будет больно, и всё равно оказывается не готов. Связь рвётся у него под рёбрами с влажным хрустом ломаемой кости и одновременно тянет его вперёд, к ней, через алтарь. Метка на запястье горит, дракон внутри вскидывается и бьёт крыльями о рёбра, и хочет он одного: перепрыгнуть камень, схватить её и закрыть собой от всего зала.

Ему нельзя на неё смотреть, он знал это ночью и знает сейчас. Если он посмотрит, то упадёт перед ней на колени, скажет "прости, я солгал, давай сторим вместе", и она согласится.

Он поднимает глаза к верхней галерее, чтобы смотреть куда угодно, только не на неё.

И тяга стихает.

Сразу, рывком: связь всё ещё рвётся у него внутри, но её больше не тянет к алтарю, и дракон замирает, опустив крылья. Каэн не понимает, откуда у него взялись силы, а потом решает, что это его воля, отцовская выучка, которая наконец сработала, когда она нужнее всего: зверь не решает, решаешь ты.

На галерее, прямо напротив, стоит женщина в тёмно-зелёном. Лица её он не различает, видит только блеск металла у неё на шее и смотрит на этот блеск, не опуская глаз.

А я слышу, как ахает зал.

Звук прокатывается волной от первых рядов к середине и к галереям, ударяется о стекло купола и возвращается мне в спину. Где-то хлопает об пол веер, кто-то ругается на старом наречии, на верхней галерее плачет ребёнок, и его торопливо уводят.

В первом ряду Бренна побелела так, что веснушки проступили у неё на щеках чёрными точками, и прижимает ладонь ко рту. Плечи у неё трясутся, но звука она не издаёт. Велвен сидит, не поднимая головы.

А потом приходит боль.

Метка на моём запястье сначала теплеет, привычно, потом тепло становится жаром, а жар огнём. Я смотрю на свою руку и вижу, как золотая нить темнеет, наливается красным и багровеет, а кожа вокруг неё натягивается, и под ней ходит раскалённая игла, туда и обратно, туда и обратно.

Я знаю, что это, меня учили: когда истинную связь рвут с одной стороны, метка выжигается у того, от кого отреклись. Я только не думала, что узнаю это на собственной коже.

Кончики пальцев у меня немеют, колени подгибаются, и я хватаюсь свободной рукой за край алтаря. Камень под ладонью тёплый, я держусь за него и не падаю, потому что на меня смотрит весь Аравонн.

— Каэн, – говорю я голосом тонким и детским, которого сама не узнаю.

Он не смотрит на меня, а смотрит на верхнюю галерею, и я поворачиваю голову прежде, чем успеваю подумать.

На галерее, напротив алтаря, стоит Велиса Виран в тёмно-зелёном платье, с рыжими волосами, убранными в высокую причёску, и сложенными на перилах руками. Она смотрит вниз, на меня, и улыбается едва-едва, уголками губ. На шее у неё, у самого выреза, блестит подвеска на тонкой цепочке, изгибаясь на свету кольцами змеи, свернувшейся на коже.

Я отворачиваюсь от неё.

— Леди Линар. – Лорд Маркион говорит негромко, только для меня, и лицо у него серое.

– Отречение произнесено при свидетелях, связь разорвана, обряд окончен.

— Я не слышала причины, лорд Маркион.

— Причина названа.

— Это не причина, это одна фраза, которую можно сказать о ком угодно.

— По закону её довольно, дитя. – Он смотрит на меня с жалостью, и от этой жалости мне хочется закричать. – Отойдите от алтаря.

Я не отхожу, а смотрю на Каэна, на его скулу, на сжатую челюсть, на кадык, который один раз дёргается вверх и вниз. Потом наклоняюсь над алтарём так близко, что никто, кроме него, не услышит.

— Ночью ты этого не знал, – говорю я.

У него на виске бьётся жилка, но он молчит.

— Ночью ты считал мои вдохи, Каэн, и уснул на моих волосах. Что случилось между ночью и утром?

Он молчит, не отрывая глаз от галереи.

В голове у меня всплывает записка на подушке, два слова его рукой: "У алтаря". Я прочла их и смеялась в его подушку, а он писал их, уже зная.

Я опускаю взгляд на свою правую руку, на кольцо его матери. Тёмный камень, гранёный розой, всю помолвку загорался изнутри тёплым красным огнём, стоило Каэну оказаться рядом, а сейчас он мутный и тусклый, мёртвый, и по граням его разбегается сеточка серых трещин.

Я снимаю кольцо. Оно идёт тяжело, потому что палец успел опухнуть от жара метки, и сдирает кожу на костяшке, но я стаскиваю его и кладу на белый камень алтаря, между нами, туда, где минуту назад лежали наши руки.

— Кольцо Дома Драстар, – говорю я лорду Маркиону громко, чтобы это услышали все.
– Оно больше не моё.

Лорд Маркион склоняет голову. Каэн не шевелится, только кадык у него снова дёргается, и я понимаю, что он видел, как я кладу кольцо, видел краем глаза, не повернув головы.

Я отпускаю край алтаря и убеждаюсь, что ноги держат. Делаю шаг назад, потом второй, метка горит так, что темнеет в глазах, а сто двадцать стежков лунного золота шуршат по мрамору у моих ног.

Весь зал ждёт, что я уйду, и я останавливаюсь.

— Каэн, – говорю я в третий раз, и теперь голос ломается на его имени. – Посмотри на меня. Посмотри на меня хоть раз.

Он не оборачивается.

Глава 4.

Меня переселили в гостевое крыло, и я не помню, как здесь оказалась.

Помню проход между скамьями, шлейф, который цеплялся за чьи-то сапоги, и руку Бренны у себя на локте, а дальше провал. Проснулась я уже здесь, на чужой постели, в ночной рубашке, когда за окном было темно, а сейчас за окном рассвет.

Метка на запястье ноет уже без огня, глубже и тупее, и не отпускает ни на минуту. Я смотрю на неё: багровая полоса, вздущаяся по краям и тёмная в середине там, где вчера утром была золотая нить.

На кресле у камина лежит алое платье, сложенное Бренной так, как она складывает всегда: подол к подолу, рукава внутрь, шитьё наружу. Лунное золото ловит первый свет из окна, и я не хочу на него смотреть и не могу отвернуться.

Горничная приносит на подносе хлеб, масло и чай, ставит поднос на столик и не поднимает на меня глаз.

— Передай лорду Драстару, – говорю я сиплым, сорванным голосом, – что я прошу о встрече.

Она кивает, уходит и через десять минут возвращается.

— Лорд Драстар велел передать, что встреча невозможна, госпожа.

Чай на подносе остывает, и я к нему не прикасаюсь.

Я одеваюсь сама в серое платье без пояса и без герба. Серое, потому что я не знаю, кто я теперь: невеста без жениха, жена без мужа, ни то, ни другое.

От гостевого крыла до его покоев сто восемь шагов, и я считаю их, чтобы не считать удары сердца.

У его двери стоит гвардеец, высокий и плечистый, с белым драконом Драстаров на нагруднике. Я знаю его: Арвид каждое утро кивал мне у ворот, когда я выходила в сад, и однажды донёс до кухни корзину яблок, решив, что она слишком тяжела для меня.

— Арвид, – говорю я. – Мне нужно войти.

Он смотрит на стену над моей головой.

— Лорд Драстар никого не принимает, госпожа.

— Я знаю, что он велел. Мне всё равно нужно войти.

— Прошу прощения, леди Линар.

Леди Линар.

Вчера утром он назвал бы меня госпожой, а через полгода, привыкнув, леди Драстар. Сто восемь шагов, одна дверь и одно имя, которое от меня отняли.

Я разворачиваюсь и иду обратно, снова сто восемь шагов.

В своей комнате я сажусь на край кровати и прижимаю большой палец к указательному, сильно, до белых ногтей. Детская привычка, от которой Бренна отучала меня годами, и я думала, что отвыкла.

Когда горничная заходит забрать поднос, я поднимаю голову.

— Передай лорду Драстару, – говорю я, и в этот раз голос не дрожит, – что если он не придёт ко мне до полудня, я пойду в Храм Покинутых.

Девушка бледнеет и роняет ложку с подноса.

Храм Покинутых стоит на набережной, в конце Ткацкой улицы, маленький и серый, и храмом только называется. Женщина, от которой отреклись у алтаря, может войти туда и произнести Слово Оставленной перед жрицей и двумя свидетелями, и после этого отрёкшийся навсегда теряет право на любую связь, хоть с истинной, хоть по договору. Высший без права на связь не оставит Дому наследника, и через поколение Дома Драстар не станет.

Об этом мне рассказывала Бренна в первые недели при дворе, а я слушала и думала, что это старая страшная сказка, которая меня никогда не коснётся.

Горничная подбирает ложку и выбегает, а через четыре минуты дверь открывается.

Каэн входит и закрывает дверь за собой.

Он в простом чёрном камзоле без шитья, без пояса и без меча, волосы у него влажные, а под глазами тёмные тени, которых я не видела у него ни разу за полгода. На правой руке перстень главы Дома с белым опалом. Он стоит у двери и дальше не проходит.

Нас разделяет вся комната. Я не встаю с кровати, потому что мне нужно, чтобы руки не дрожали, и я сжимаю их на коленях.

— Почему? – спрашиваю я.

— Твоя кровь не вынесет моей.

Тот же голос и та же фраза, слово в слово, как вчера над алтарём.

— Это я слышала. Я спрашиваю, что это значит.

— То, что я сказал.

— Каэн. Что это значит?

— Связь со мной убила бы тебя.

— Откуда ты это знаешь?

Он молчит, и я продолжаю сама:

— Позавчера ты этого не знал. Позавчера ты сорвал мне розу, а вчера ночью ты...

— Ночь была ошибкой.

Он говорит это так же, как говорил формулу, не меняя голоса и глядя на окно у меня за спиной.

Мне нечем дышать. Я сижу на кровати, смотрю на него, и в голове у меня пусто, совсем пусто, только одна мысль ходит по кругу: он говорит неправду, он должен говорить неправду, не мог же он считать мои вдохи и лгать. Я ищу у него на лице хоть что-нибудь и не нахожу, потому что лицо закрыто.

— Когда ты решил? – спрашиваю я.

— Неважно.

— Мне важно, Каэн.

— Это ничего не изменит.

— Ночью ты ушёл на чей-то стук. – Я поднимаюсь, и колени держат. – Ты вернулся ко мне? Или сразу сел писать записку на подушку? "У алтаря". Ты писал её, уже зная?

Он молчит, только перстень у него на пальце один раз проворачивается под большим пальцем, а этой привычки я у него никогда не видела.

Я делаю шаг к нему.

— Я пойду в Храм. Я не шучу.

— Иди.

Я останавливаюсь. Я ждала чего угодно: что он побледнеет, начнёт торговаться, пообещает объяснить, лишь бы я не ходила, или хотя бы разозлится. А он смотрит на окно у меня за спиной и говорит "иди" тем же голосом, которым просил передать мёд.

— Ты потеряешь право на любую связь, – говорю я. – Ты это понимаешь? Не со мной, а вообще ни с кем. Дом Драстар кончится на тебе.

— Понимаю.

— И тебе всё равно?

— Это твоё право, и ты можешь им воспользоваться.

Я не понимаю. Я стою посреди комнаты и не понимаю, кто этот человек. Высший, глава древнего Дома, который отрёкся от меня перед всем двором, потому что я недостаточно хороша для его крови, ради Дома, ради наследника, ради чистоты рода. Так я поняла это вчера,

так поняли все. И этот же человек готов отдать свой Дом, своего наследника и свою кровь, лишь бы ничего мне не объяснять.

Я опускаю глаза и вижу, что большой палец сам собой прижался к указательному. Когда я поднимаю голову, Каэн смотрит на мои пальцы, одно мгновение, и я не успеваю понять, что у него с лицом, потому что он снова переводит взгляд на окно.

Я подхожу вплотную, он не отступает, и я бью его по лицу открытой ладонью.

Он не уклоняется, только голова его поворачивается от удара, и на скуле проступает красное пятно с очертаниями моих пальцев. Ладонь у меня горит, и я прижимаю её к бедру.

— Ты отнял у меня жизнь перед тысячей свидетелей, — говорю я, — и не можешь сказать мне почему.

Он поворачивает голову обратно и смотрит на меня впервые за весь разговор. Золотые глаза, в которых я не нахожу ни жалости, ни презрения, а нахожу другое, чему не знаю названия.

— Уезжай из Аравонна, Альса, — говорит он. — Здесь тебе больше нечего делать.

Он выходит, и дверь закрывается без стука.

Я стою посреди комнаты, и правая рука у меня дрожит, та, которой я его ударила. Я жду, пока дрожь уйдёт, а она не уходит.

К полудню я стою на ступенях Храма Покинутых.

Я дошла сюда пешком через пол-Аравонна в сером платье и плаще с капюшоном, и никто меня не узнал. Аравонн обсуждает вчерашнее на каждом углу, у фонтана на площади Совета я трижды слышала своё имя, но ни одна торговка не подняла на меня глаз, потому что женщина в сером плаще никому не интересна.

Храм маленький, ниже соседних складов, сложенный из серого камня, потемневшего от речной сырости, и над его дверью вырезана женская рука ладонью вниз. Дверь открыта, внутри полумрак и одна лампа, а у лампы сидит старая жрица в сером, с вязанием на коленях. Увидев меня на ступенях, она откладывает вязание.

Мне нужно только войти и сказать три слова. Жрица кликнет двух свидетелей с набережной, через четверть часа всё кончится, и Каэн Драстар больше никогда ни с кем не свяжет душу: ни с Велисой Виран, которая улыбалась мне с галереи, ни с кем другим.

Он сказал: иди.

Я ставлю ногу на верхнюю ступень и вспоминаю его ладонь на моём запястье в те три ночи, когда проступала метка. Вторая ночь, дом Бренны, свеча на окне: я кусала подушку, а он сидел рядом на жёстком стуле и держал руку на моей коже до рассвета, ни разу её не отняв. Утром я увидела у него на запястье такой же ожог, как у меня, и он даже не поморщился, когда я его коснулась.

Я снимаю ногу со ступени.

Жрица долго и спокойно смотрит на меня из полумрака, а потом снова берётся за вязание. Она, наверное, видела на этих ступенях много женщин, и многие разворачивались.

Я иду обратно через весь Аравонн, и метка ноет у меня под рукавом всю дорогу.

Бренна приходит ко мне вечером с подносом, на котором бульон и хлеб. Она ставит его на столик, садится рядом со мной на кровать и берёт мою руку, ту, что дрожит, холодными пальцами.

— Выпей, — говорит она.

— Не хочу, Бренна.

— Выпей, кому сказано.

Я пью горячий солёный куриный бульон, и у меня в груди разжимается кулак, на один палец.

Бренна ни о чём не спрашивает, ни о том, что сказал Каэн, ни о Храме. Она не утешает и не поёт мне колыбельных на старом наречии, хотя всегда пела, когда я болела, а просто

сидит рядом и держит мою руку. Её левая рука лежит на колене, и пальцы на ней подрагивают, отсчитывая про себя невидимые стежки.

— Ты знала? – спрашиваю я.

Её пальцы останавливаются.

— Что он откажется у алтаря? Нет, девочка, этого я не знала.

— А что знала?

— Не сейчас, Альса.

— Вчера утром ты заставила меня поклясться, что я не сниму медальон, и плакала при этом. – Я поворачиваюсь к ней. – Почему?

Бренна смотрит в стену.

— Тебе надо уехать, – говорит она.

— Он сказал то же самое.

— Значит, хоть в этом он прав. – Она лезет за пазуху и вынимает сложенный листок и холщовый мешочек, тяжёлый и звякающий. – Здесь адрес: аббатство Серых Сестёр, на севере, у подножия Серых гор. Скажешь настоятельнице, что ты от Бренны. А здесь деньги на дорогу и на первый месяц.

Я беру листок и мешочек. Монеты внутри медные, имперские, вперемешку с парой золотых, и это не серебро Драстаров, а её собственные сбережения.

— Почему именно аббатство?

— Там старые стены. – Бренна наконец смотрит на меня. – Он тебя за ними не почувствует. Никто не почувствует.

— Кто это "никто"?

Она не отвечает, встаёт и поправляет передник. У двери она оборачивается, губы у неё сжимаются и разжимаются, и я жду продолжения.

— Уезжай на рассвете, – говорит она. – Карету я найму сама. И перед отъездом загляни в свой детский сундук, он стоит в кладовой под гостевым крылом.

Она уходит, больше не обернувшись, а я сижу с адресом в одной руке и мешочком в другой и думаю о детском сундуке, который не открывала больше года.

Когда за Бренной закрывается дверь, я беру свечу и спускаюсь в холодную тёмную кладовую под гостевым крылом мимо двух слуг: один отводит глаза, другой кланяется мне так, как кланяются госте, а не хозяйке.

Сундук стоит в дальнем углу, под стопкой старых портьер, маленький, обитый потёртой кожей, с медной застёжкой, позеленевшей от времени. Он стоял у моей кровати в доме барона Линар, потом в комнате Бренны, а полгода назад приехал сюда вместе со мной.

Я сажусь на каменный пол и открываю его.

Сверху лежит деревянная кукла без одной руки, под ней засушенный цветок шиповника из баронского сада, плоский и коричневый. Я вынимаю их по одному, кладу рядом с собой на пол и нахожу под ними двойной слой полотна, выцветшего до серого, а под полотном конверт.

Жёлтый, без печати и без адреса, я его не помню. Я перебирала этот сундук сотни раз, когда была маленькой, и ни разу ничего не находила под полотном.

Почерк на письме незнакомый, мелкий, с наклоном вправо, а чернила выцвели до рыжего.

"Дочь моя.

Если ты читаешь это, значит, у тебя отняли то, что было твоим. Прости меня. Прости, что меня нет рядом и что некому объяснить тебе всё как следует.

Медальон на твоей шее принадлежал мне, а до меня моей матери, а до неё её матери. Не снимай его. Он хранит больше, чем память. Откроешь его, когда потеряешь всё. Ты поймёшь, когда.

Не позволяй им забрать небо.

Люблю тебя. Всегда".

Ни имени, ни подписи, ни даты.

Я перечитываю письмо трижды и спрашиваю у пустой кладовой: кому им? какое небо? Женщина, которую я не помню, написала мне из прошлого, о котором я ничего не знаю, и просит не отдавать то, чего у меня, может быть, никогда не было.

Я касаюсь медальона сквозь ткань. Овальный и гладкий, размером с крупную монету, он цельный, без щели и без замка, просто серебряный овал с едва заметной гравировкой, которую я в детстве принимала за царапины, и я никогда его не открывала.

Потеряла ли я всё? Мужа и имя. Шесть месяцев жизни и руку, которая каждую ночь замирала у моей двери.

Я берусь за медальон пальцами, и серебро обжигает меня, коротко и резко, искрой, так что я отдёргиваю руку. На кончиках пальцев нет ожога, они только покалывают, но медальон под тканью горячий, и жар от него идёт по коже к метке на запястье, а метка отвечает ему глухим толчком.

Я сижу на холодном полу кладовой с письмом на коленях и смотрю на свою руку.

"Не позволяй им забрать небо".

Глава 5.

Я рву страницы по одной.

Дневник толстый, в переплёте из телячьей кожи, с золотым тиснением на обложке: "Альсе, в день помолвки. К.Д.". Он подарил мне его пустым в первую неделю, сказав, что Драстары ведут хроники и невесте Драстара тоже полагается, и я исписала его за полгода до последней страницы.

Камин в гостевой комнате растоплен с ночи, и пламя хватает страницы раньше, чем я успеваю разжечь палыцы. Чернила вспыхивают синим, а бумага чернеет и сворачивается.

"Каэн пришёл к ужину и сел напротив, а не во главе стола". В огонь.

"Каэн положил ладонь мне на поясницу на галерее, и я сбилась с шага". В огонь.

"Каэн сорвал розу, не глядя, и не поцарапался. Я думаю, он вообще..." Я не дочитываю и бросаю в огонь.

Под ногтями у меня серая зола, и я вытираю пальцы о подол сорочки, потому что полотенца в этой комнате, да и всё в этом доме, вышиты белым драконом Драстаров, а к белому дракону я больше не хочу прикасаться.

Последней в огонь идёт обложка. Телячья кожа пузырится и темнеет вместе с тиснением, буквы "К.Д." держатся дольше всего, и я смотрю на них, пока не исчезают и они.

Алое платье, сложенное Бренной, остаётся лежать на кресле у камина, и я его не беру.

В дверь стучат: два удара и пауза.

— Девочка. — Голос у Бренны за дверью осипший, она не спала. — Карета через час, у боковых ворот, возле прачечной.

Я открываю. Бренна стоит в коридоре в своём вечном переднике, постаревшая за одну ночь на десять лет, с красными глазами. Она смотрит мимо меня на камин и на пепел и ничего не спрашивает.

— Кучер наёмный, — говорит она. — Я заплатила из своих, и он не знает, кто ты такая.

— Поехали со мной.

— Нельзя мне. — Она качает головой. — Если я исчезну в одно утро с тобой, лорд Драстар сразу поймёт, где искать. А так я старая нянька, которой некуда идти, и кому я нужна.

— Мне ты нужна.

Она обнимает меня крепко, до хруста, и я утыкаюсь носом ей в плечо. В детстве, просыпаясь от жара, я пряталась в это плечо, и она пела мне на старом наречии, которое никто, кроме неё, не знал, а сейчас она не поёт, и руки у неё трясутся.

— Тётушка, — говорю я ей в плечо.

— Иди. — Она отпускает меня и отступает, и подбородок у неё дрожит, хотя глаза сухие. — Иди, Альса, и не оглядывайся.

— Я вернусь за тобой.

Бренна долго качает головой и уходит по коридору, так и не обернувшись.

Через час я выхожу в коридоры Драстар-холла, пустые в этот час.

Магические светильники горят вполнакала, и с портретов на стенах на меня смотрят предки Каэна с одинаковыми золотыми глазами, смотрят сквозь меня, с высоты своего рода. Я иду вдоль стены с сундуком у бедра, в сером дорожном платье и тёплом плаще без герба, с медальоном на шее, письмом в кармане у сердца и адресом Бренны в рукаве.

За полгода я выучила этот дом: знаю, где поворачивает стража, где скрипит паркет и в каком часу кухарка выносит помои. Левый поворот у гобелена с охотой на василиска, лестница через кухонный двор, кладовые, где спит толстый рыжий кот повара. Я сама не знала, зачем всё это запоминаю, а сегодня пригодилось.

В прачечной сыро от пара, и на каждой корзине с бельём вдоль стен выжжено клеймо "Дом Драстар": даже бельевые корзины у них с гербом.

Карета ждёт у боковых ворот, маленькая, крытая тёмной тканью, из тех, что нанимают мелкие торговцы, с двумя гнедыми лошадьми с лохматыми бабками. Кучер в войлочной шапке, надвинутой до бровей, сидит на козлах и не оборачивается.

— На север? – спрашивает он.

— На север.

— Четыре дня, если обойдётся без дождей, а с дождями все пять.

Я ставлю сундук на сиденье и забираюсь внутрь. Обивка грубая и колется сквозь платье, карета трогается, левое заднее колесо скрипит на каждом обороте, и под этот скрип Драстар-холл уплывает назад за занавеской.

Аравонн просыпается. Мимо тянутся пекарни нижней улицы, где уже открыты ставни, фонтан на площади Совета, где каменный дракон выдыхает воду вместо огня, золочёный шпиль храма Основателей, горящий в первых лучах. Полгода это был мой город, и он мог бы остаться моим навсегда.

Я прижимаюсь лбом к стеклу и думаю о том, что ни с кем не попрощалась: ни с Арвидом, ни со старой кухаркой, которая пекла мне миндальные пирожные, потому что однажды я обмолвилась, что люблю миндаль.

Ни с Велвеном, который заходил ко мне по вечерам с книгами и чаем и сидел молча, чтобы мне не было одиноко в чужом доме, пока Каэн разбирал донесения. Вчера в Зале Соединений Велвен ни разу не поднял головы, и сидел он так с самого начала обряда, ещё до формулы.

Он знал и не предупредил.

Может быть, знали все, и во всём Зале Соединений я одна стояла у алтаря и верила.

Карета поворачивает, и я открываю глаза на последней улице перед северными воротами. Справа, через площадь, виден парадный подъезд Драстар-холла и широкая лестница, по которой я полгода назад поднималась в белом бархате, с букетом зимних роз и улыбкой, от которой болели щёки.

У подъезда стоит чёрный лаковый экипаж на высоких колёсах, запряжённый четвёркой серых, и на дверце у него золотом выложен герб: змея, свернувшаяся кольцом. Дом Виран.

Лакей открывает дверцу и подаёт руку, и из экипажа выходит Велиса в тёмно-зелёном строгом платье с высоким воротом, с рыжими волосами, уложенными так, что ни одна прядь не выбивается. Она поднимается на нижнюю ступень, останавливается и поднимает голову к окнам второго этажа. Я знаю эти окна: там кабинет Каэна.

Она улыбается едва-едва, уголками губ, и на шее у неё, поверх высокого ворота, блестит подвеска-змея.

Мне хочется выскочить из кареты, перебежать площадь, схватить её за эту гладкую причёску и спросить, чему она улыбалась вчера с галереи, что она знала и что сказала ему.

Вместо этого я опускаю занавеску. Карета въезжает в северные ворота под скрип колеса, и Драстар-холл исчезает за углом.

Наверху, у окна своего кабинета, стоит Каэн, и до него доносится скрип колеса на каждом обороте.

Каэн слышит это сквозь стекло, сквозь камень и всю ширину площади, слухом Высшего, который сейчас с радостью отдал бы за любую глухоту. Левое заднее колесо, ось плохо смазана, обод треснул в одном месте. Он мог бы дать ей карету с гербом Драстаров, на рессорах, с горячими кирпичами под ногами и двумя всадниками охраны, а вместо этого стоит у окна кабинета и слушает, как скрипит обод наёмной кареты, пока звук не тонет в шуме северных ворот.

Его ладони лежат на подоконнике, и камень под пальцами крошится, осыпая пол белой пылью.

Всю ночь он не спал. Между её комнатой и его кабинетом два этажа и каменная лестница, а на дверь кабинета изнутри он повесил плетение пятого уровня против самого себя, чтобы не встать среди ночи и не пойти к ней. Дважды он вставал, и дважды плетение отбрасывало его руку от дверной ручки, так что он садился обратно.

Велвен входит, коротко стукнув, и плетение пропускает его, потому что держит только того, кто пытается выйти.

— Уехала, – говорит Велвен.

— Знаю.

Велвен подходит к окну и смотрит на пустую площадь.

— Ты мог дать ей карету, охрану, денег, в конце концов.

— Не мог.

— Почему?

— Если я дам ей хоть монету, я буду знать, где она. – Каэн не отнимает рук от подоконника. – А если буду знать, то приду.

Велвен молчит, и цепочка записной книжки в его пальцах делает виток, потом другой.

— Обида не убивает, мальчик, – говорит он наконец. – Убивает пламя, и ты выбрал обиду.

— Я выбрал её жизнь.

— Только ей ты этого не сказал.

Каэн отнимает руки от подоконника, оставив на камне вмятины от пальцев.

— Вчера она дала мне пощёчину, прямо здесь, в моём доме, – говорит он. – И знаешь, о чём я думал, когда стоял перед ней? Что у неё дрожит рука, что ей больно, а я не могу взять её руку и подуть на ладонь.

Велвену нечего на это ответить, и Каэн отпускает его:

— Иди, Велвен.

Велвен уходит.

Когда Велвен уходит, Каэн спускается в гостевое крыло, где комната уже пуста.

Каэн не сразу входит, а сначала стоит на пороге и смотрит на застеленную постель и на нетронутый поднос со вчерашним хлебом. В камине догорает пепел, и от пепла тянет горелой кожей, телячьей, которую он сам выбирал у переплётчика на Кленовой улице.

Он подходит к камину и опускается на корточки. Переплёт сгорел целиком, страницы ушли в пепел, и только у самой решётки, куда не дотянулось пламя, лежит лист с обгоревшим краем. Каэн вынимает его двумя пальцами, ещё тёплый, и узнаёт её почерк, круглый, с длинными хвостами у букв и кляксой в конце строки.

"...Каэн сорвал розу, не глядя, и не поцарапался. Я думаю, он вообще не знает, что розы колются. Я ему не скажу. Пусть..."

Дальше лист обгорел.

Он перечитывает эти три строки ещё и ещё раз, потом складывает лист вдвое, потом ещё вдвое и прячет во внутренний карман камзола, у сердца.

На кресле у камина лежит алое платье, подол к подолу, рукава внутрь, шитьё наружу. Он касается лунного золота кончиками пальцев: сто двадцать стежков, она говорила ему, а он слушал вполуха и думал о том, как она будет смеяться вечером над его лицом. Потом он убирает руку.

В дверях появляется Холт.

— Лорд Драстар, прибыла леди Виран и просит принять её.

Каэн не оборачивается. Его ладонь лежит на спинке кресла, и дерево под ней трещит.

— Пусть ждёт в голубой гостиной. И позови капитана Ренна, сюда и сейчас же.

Холт уходит, а Каэн стоит над пустым креслом и смотрит на платье.

Ренн приходит через несколько минут, запыхавшийся, в мундире Северной гвардии, застёгнутом на ходу: двадцать лет службы, сабельный шрам через бровь, лучший следопыт северной границы, который учил Каэна читать следы на снегу, когда тот ещё не умел оборачиваться.

— Лорд Драстар.

— Наёмная карета, – говорит Каэн. – Крытая тёмной тканью, две гнедые, левое заднее колесо скрипит. Полчаса назад вышла через северные ворота.

Ренн молчит и ждёт, потому что умеет ждать.

— Возьми двоих, кому доверяешь без оглядки, и обойдитесь без мундиров. Пойдёте следом и доведёте её до места, куда она едет.

— Её, – повторяет Ренн. Он не спрашивает, о ком речь: со вчерашнего дня об этом знает весь Аравонн.

— Её.

— А если она заметит?

— Не заметит, потому что для неё ты не существуешь.

— А если на неё нападут?

— Тогда заметит. – Каэн поворачивается к нему. – Но останется живой.

Ренн кивает.

— Докладывать?

— Каждый вечер, мне лично и больше никому.

— А деньги? Колесо у них, говорите, скрипит, до Валхена может и не дотянуть.

Каэн молчит долгую секунду.

— Если сломается, пусть кузнец в ближайшей деревне возьмётся за работу сразу и не возьмёт с неё ни монеты, а ты заплатишь ему сам. Если ей негде будет ночевать, найди того, кто пустит её и накормит, и тоже заплати сам. Пусть думает, что мир к ней добр.

— Понял, лорд.

— Ренн.

Капитан останавливается у двери.

— Чтобы ни один волос с её головы, – говорит Каэн. – И она не должна узнать.

Глава 6.

Колесо ломается под Валхеном на седьмой день.

Карету бросает вбок, меня швыряет плечом в стенку, сундук слетает с сиденья, и снаружи ржут лошади и ругается кучер, так что я узнаю три новых слова. Карета замирает, завалившись на левый задний угол.

Я выбираюсь наружу в грязь по щиколотку. Дождь идёт третий день подряд, дорога раскисла до бурой каши, и лошади стоят в ней по бабки, понурые и мокрые до костей, а кучер сидит на корточках у колеса, у которого обод лопнул поперёк и две спицы торчат наружу.

— Всё, госпожа, – говорит он. – С самой столицы скрипело, я думал, до Валхена дотянет.

— А далеко до Валхена?

— Версты две, там и кузня есть.

Две версты мы идём пешком, ведя лошадей в поводу, и я держу над головой край плаща, хотя это не помогает. К кузне я подхожу мокрая насквозь, с подолом, отяжелевшим от грязи, и с мыслью, что Бренна, увидев меня сейчас, отходила бы меня полотенцем.

Кузнец оказывается рыжебородым великаном в прожжённом кожаном фартуке. Он выслушивает кучера, идёт с ним к брошенной карете и через час возвращается с колесом на плече, которое бросает у наковальни.

— К вечеру сделаю, – говорит он.

— Сколько я буду должна? – спрашиваю я.

Кузнец смотрит на меня из-под рыжих бровей.

— Нисколько.

— Почему нисколько?

— Обод у меня старый без дела лежал и только ржавел, а работа мне в радость.

Я достаю из-под плаща мешочек Бренны, отсчитываю на ладонь три медяка и протягиваю ему.

— Возьмите хотя бы за работу.

Кузнец не берёт. Он смотрит на мою протянутую ладонь, на медяки, и я вижу, как у него под бородой двигается челюсть.

— Спрячь, – говорит он. – В Валхене за починку с путников в дождь не берут, обычай такой.

— Я никогда не слышала о таком обычае.

— Так ты ведь и не из Валхена.

Он отворачивается к горну и качает мехи так, что пламя взвивается до самой вытяжки, и разговор окончен. Я стою с протянутой рукой, пока это не становится глупо, и прячу медяки обратно.

— Хлеба купи у вдовы Марты, – говорит кузнец, не оборачиваясь. – Третий дом от колодца. Ей деньги нужнее, чем мне.

Вдова Марта не спрашивает, как меня зовут. Она открывает дверь раньше, чем я стучу, оглядывает мой плащ, сапоги в грязи и волосы, слипшиеся от дождя, и молча отходит в сторону. В доме у неё печь, лавка у печи и стол, выскобленный добела, и она ставит передо мной миску горячей похлёбки с ломтём хлеба, а я ем так быстро, что обжигаю язык.

Когда я протягиваю ей медяк за хлеб, она мотает головой и говорит, что я переночую на лавке, а карета до утра всё равно простоит.

Утром, пока я одеваюсь, Марта замечает мой задравшийся до локтя рукав и багровую полосу на запястье. Я жду вопроса, но вопроса нет: она уходит в чулан и возвращается с глиняной баночкой, которую ставит на стол рядом с моей рукой.

— От ожогов, – говорит она. – Гусиный жир и календула. Мажь на ночь.

Я уезжаю из Валхена с починенным колесом, с баночкой мази в сундуке и с мыслью, что мир, может быть, не так зол, как мне казалось в Зале Соединений, раз чужие люди кормят меня и не берут денег, кузнец чинит колесо даром, а вдова лечит ожог, о котором ничего не знает.

Мне становится легче на целый день.

На двенадцатый день кучер стучит кнутовищем в крышу кареты.

— Приехали, госпожа. Дальше колея не пустит.

Дальше начинается тропа. Она уходит вверх по склону между чёрными камнями, узкая, в одну ногу шириной, и где-то наверху, за поворотом, теряется в низких облаках. Кучер ставит мой сундук на обочину и мнёт в руках шапку.

— Туда полдня пешком. Может, донести?

— Нет, возвращайтесь. Вы и так довезли меня дальше, чем договаривались.

Он медлит, потом нахлобучивает шапку и лезет на козлы, а я поднимаю сундук на плечо и иду вверх.

Сундук маленький, но к третьему повороту рука у меня немеет до плеча, и я перекидываю его на другое, которое к пятому повороту немеет тоже. Камни под сапогами мокрые и скользкие, один раз я падаю на колено и сдираю кожу сквозь подол. Тропа переходит через ручей без мостков, и я перехожу его вброд по воде такой холодной, что ступни сводит судорогой, и последние десять шагов до берега делаю, не чувствуя ног.

На той стороне ручья я сажусь на камень и смотрю вниз. Снизу на тропу поднимаются облака, и ни кареты, ни дороги, ни Валхена уже не видно, только серое молоко и торчащие из него чёрные камни. Если кто-нибудь пойдёт за мной следом, он потеряет меня в этом молоке в двадцати шагах.

Я встаю, закидываю сундук на плечо и иду дальше.

К вечеру тропа выводит меня к аббатству Серых Сестёр, которое стоит на самом краю уступа горы.

Стены у него серые и толстые, сложенные из огромных необтёсанных глыб, по которым сверху вниз тянутся тёмные потёки от дождей. Узкие окна затянуты промасленной тканью, а над воротами поднимается башня с флюгером в виде раскрытой ладони, который не крутится, заржавев лицом к северу. Ворота дубовые, окованные железом, и железо оплетено старым охранным плетением: я чувствую его металлическим привкусом на зубах и сама не знаю, откуда во мне это чутьё, которого я раньше не замечала.

У ворот разросся куст дикого шиповника с крупными тёмно-красными ягодами, тяжёлыми от воды, а засушенный цветок шиповника из сада барона Линар лежит у меня в сундуке.

За стенами аббатства поднимаются Серые горы, сизые, в клочьях тумана, со снегом на вершинах, хотя внизу ещё осень. В детстве Бренна говорила мне, что в Серых горах спят драконы и будить их нельзя. Я стою перед ними с сундуком на плече, мокрая, с разбитым коленом, и горы смотрят на меня сверху вниз и молчат, потому что им всё равно, кто я, и они не судят и не отрекаются.

От этого почему-то легче дышать.

Ворота открываются раньше, чем я успеваю постучать.

На пороге стоит женщина в серой рясе, перехваченной верёвочным поясом, невысокая и сухая, с загорелым лицом в глубоких морщинах и тёмными неподвижными глазами. Руки она держит перед собой, переплетя пальцы.

— Ты от Бренны, — говорит она, не спрашивая, а утверждая.

— Да. — Я опускаю сундук на землю. — Откуда вы...

Женщина поднимает руку, и я замолкаю.

Она смотрит на меня долго, и её взгляд опускается мне на грудь, туда, где под плащом и платьем висит медальон. Я вижу, как у неё на одно мгновение расширяются зрачки, хотя цепочка ушла под ворот и медальона не видно, а она смотрит прямо на него. Потом она пере-

водит глаза на мои волосы: двенадцать дней в дороге смыли дождём отвар ореховой скорлупы, и я знаю, что на свету они сейчас отливают синим.

— Входи, – говорит женщина и отступает в сторону. – Я мать Агата, настоятельница этого дома. Здесь тебя будут звать сестрой Аль, не леди и не госпожой, а твоего настоящего имени я знать не хочу и спрашивать не стану.

— Мать Агата, откуда вы знаете Бренну?

— Год молчания и год труда, – говорит она поверх моего вопроса. – Так было всегда для каждой, кто приходит сюда, и так будет. Молчание начинается на пороге.

Я смотрю на неё, она на меня, и вопрос стоит у меня в горле, но я понимаю, что если задам его сейчас, ворота закроются у меня перед носом, потому что она не шутит.

Я закрываю рот, поднимаю сундук и переступаю порог.

Охранное плетение на стенах смыкается у меня за спиной, я чувствую это кожей: тяжёлую дверь, которую закрыли и заперли на ключ, хотя ворота ещё открыты.

Метка на запястье дёргается один раз, сильно, до самой кости, и я хватаю себя за руку, но потом она замолкает.

Я стою посреди двора, прижав запястье к груди, и жду, что боль вернётся. Двенадцать дней она не уходила ни на час: ныла в карете, на лавке у вдовы Марты, на тропе, пока я тащила сундук, и я засыпала и просыпалась с ней.

Боль не возвращается.

Мать Агата оборачивается и смотрит на мою руку, прижатую к груди.

— Стены, – говорит она. – Камень здесь старый, из сердца горы, и гасит почти всё: плетения, связи, бонды. Пока ты в этих стенах, он тебя не чувствует, а ты его.

Она не спрашивает, кто "он", потому что знает.

Глаза у меня мокрые, и я не знаю почему.

Келья, куда меня приводят, оказывается на третьем этаже, узкая, побелённая известью, с кроватью на соломенном тюфяке, столом, табуретом и кувшином воды, и окно её выходит на горы. Больше в ней нет ничего, и после Драстар-холла, где белый дракон был вышит на каждом полотенце, эта пустота кажется мне подарком.

Молодая послушница, которая меня привела, ставит у двери мой сундук и уходит, не сказав ни слова, потому что здесь никто ничего не говорит.

Я сажусь на кровать, снимаю сапоги и задираю рукав. Метка на месте, багровая и тёмная в середине, вздувшаяся по краям; мазь Марты сняла красноту вокруг, а сама полоса не изменилась. Я смотрю на неё и жду боли, которой нет, а потом ложусь и закрываю глаза.

Сон не идёт. Я лежу и слушаю тишину аббатства, в которой нет ни голосов, ни колёс, ни шагов, только ветер за окном и где-то далеко внизу звон колокольчика на шее у козы.

Рука сама находит запястье. Двенадцать ночей я засыпала, обхватив метку пальцами, и тупая, ноющая, живая боль под пальцами была единственным, что у меня осталось от него. Пока она болела, он был где-то на другом её конце. Я не думала об этом словами, а просто держалась за неё.

Сейчас под пальцами ничего.

Я нажимаю на метку сильнее, потом впиваюсь в неё ногтями, и кожа отзывается обычной царапающей болью, но больше ничем: ни тепла, ни тяги, ни глухого толчка, который отвечал мне все эти дни. На другом конце пусто.

Я сижу на кровати в темноте, впившись ногтями в собственное запястье, и смотрю на горы в окне, пока небо над ними не начинает сереть.

Дни в аббатстве идут один за другим, серые и неразличимые.

Колокол поднимает нас до рассвета одним низким ударом, отдающимся в рёбрах, потом молитва в часовне на коленях на каменном полу, от которого первую неделю болят колени, а на

вторую я перестаю их замечать. На завтрак каша, хлеб и вода, по праздникам яйцо, и здесь, в горах, голод приходит раньше и злее, чем в столице, так что я съедаю всё до последней крошки.

Потом работа. Мать Агата ставит меня в сад, решив это без объяснений, одним словом и кивком подбородка, и я иду в сад.

Сад аббатства спускается по южному склону террасами, и на каждой своё: овощи, травы, ягодные кусты, яблони, а на самой нижней растут незнакомые мне растения, тёмно-лиловые, с серебряными прожилками на листьях. Работы здесь столько, что я засыпаю, не успев донести голову до тюфяка: копать, полоть, таскать воду от ручья, укрывать грядки лапником от первых заморозков. Руки, не знавшие ничего тяжелее вышивальной иглы, за неделю покрываются мозолями, ногти ломаются, спина гудит по вечерам.

Это хорошо, потому что когда гудит спина, молчит голова.

В саду я работаю не одна: рядом со мной всегда старик, высокий, сутулый и костистый, с длинными седыми волосами, стянутыми на затылке бечёвкой. Через всё лицо, от правой брови до левой щеки, у него тянется старый белый шрам, ровная линия, проведённая одним ударом. Глаза у него светлые, почти бесцветные, руки крупные, с узловатыми пальцами, чёрными от земли, и за три недели он не произносит ни слова, ни мне, ни кому-либо другому.

Его зовут брат Силен, это я узнаю от послушницы, которая приносит нам воду в полдень и, нарушая устав, шепчет мне в ухо, пока он не видит. Брат Силен садовник, он живёт здесь дольше всех, дольше матери Агаты и самых старых сестёр.

Он работает не вместе со мной, а рядом. Когда я копаю на верхней террасе, он подрезает кусты в десяти шагах на той же террасе, когда я спускаюсь к ручью за водой, он спускается туда же за глиной, а когда я сажусь передохнуть на каменный бортик, он оказывается в трёх шагах с лейкой, лопатой или мотком верёвки.

Он не подходит и не заговаривает, но каждый раз, когда я поднимаю голову от грядки, его бесцветные глаза уже смотрят на меня, долго и терпеливо, без любопытства и без жалости, и я не знаю, чего он ждёт.

Вечерами мне позволено сидеть в скриптории, потому что обет молчания не запрещает читать. Скрипторий тесный, с низким потолком, и книг в нём немного: молитвенники, травники и хозяйственные книги аббатства за триста лет. В дальнем углу, за тяжёлой занавеской, есть низкая дубовая дверь с железной щеколдой и печатью тёмно-синего воска, на которой выдавлен знак, неразличимый в полумраке, и послушницы проходят мимо этой занавески, не поворачивая голов.

Однажды вечером, когда в скриптории никого нет, я отодвигаю занавеску и касаюсь печати пальцем. Воск холодный, а медальон у меня под платьем вдруг теплеет на один удар сердца, и я отдёргиваю руку и задёргиваю занавеску.

Утром брат Силен стоит у куста шиповника у ворот и смотрит на меня через весь двор, провожая глазами, пока я не скрываюсь за углом по дороге в сад.

Тем временем в Аравонне капитан Ренн стоит у стола Казна в мокром плаще, с которого на ковёр натекает лужа, и не замечает её.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.